
ГОРОЖАНИН
ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О ЖИТЕЛЕ
БОЛЬШОГО
ГОРОДА?

УДК 316.334.56
ББК 60.54
Г70

Редактор-составитель Иосиф Фурман
Научный консультант Никита Румянцев
Дизайн ОК-RM, London

Г70 Горожанин: что мы знаем
о жителе большого города?
М.: Strelka Press, 2017.— 216 с.

ISBN 978-5-906264-69-5

Кто живет в большом городе? Мы знаем, что город — это бесконечное разнообразие людей и их социальных ролей, но, может быть, у них есть общие свойства, которые позволяют говорить о горожанине как таковом? И, может быть, возможность понимать и формулировать свои интересы как интересы горожанина может качественно изменить нашу жизнь и в городе, и в стране? Сборник «Горожанин» — попытка описать современного жителя большого города силами ведущих российских ученых и экспертов, принадлежащих различным научным дисциплинам и интеллектуальным традициям.

ISBN 978-5-906264-69-5

УДК 316.334.56
ББК 60.54

© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 2017

1.1

Виталий
Куренной

СИЛА СЛАБЫХ СВЯЗЕЙ.
ГОРОЖАНИН И ПРАВО
НА ОДІНОЧЕСТВО

Современный, современный город — это прежде всего возможность для человека не быть частью никакого сообщества. Город — это уникальная культурная лаборатория, которая позволяет человеку быть одному. На протяжении почти всей истории человечества человек не мог быть один — он с необходимостью и неизбежностью был частью сообщества: большой семьи, клана, религиозной общины, сословия. И только в современном городе он получает возможность освободиться от этой неизбежной во всех прочих условиях необходимости быть частью сообщества, возможность быть индивидом.

КВИНТЭССЕНЦИЯ МОДЕРНА

Город для культуролога — это смысл. В этом фундаментальное различие между культурологическим и, например, социологическим подходами. Социолог оперирует понятиями, которые имеют гипотетический характер: классы, какие-то группы населения, сообщества. Впрочем, нарратив больших групп переживает сегодня не лучшие времена — большие социальные страты давно находятся под подозрением, и социология сильно дрейфует к области исследований культуры.

Для исследователей культуры принципиальным является смысловой горизонт, в котором существует и который способен удерживать человек. Мы не приписываем индивида к каким-то социальным структурам. Ключевым является смысловое содержание городского пространства: как люди видят и понимают город. Поэтому в культурологии для изучения города вполне можно обратиться к литературе, так как литература — это и есть понимаемый индивидом смысловой каркас города. В популярной культуре у нас, правда, прижилось невозможное понятие — все время говорят о каких-то «производителях смыслов». Ответственно заявляю: ни один современный серьезный теоретик, анализирующий проблему смысла, никогда не трактовал смысловую сферу как сферу производства, в котором заняты некие особо креативные индивиды.

Конечно, культурология, как и все гуманитарные дисциплины сегодня, во многом представляет собой поле междисциплинарных исследований (сложно провести границу между, например, той же городской культурной антропологией и определенными типами качественных социологических исследований). Лингвистический поворот, оказавший также существенное влияние на исследования культуры, подарил нам метафору города как текста. Но, на мой взгляд, эта модель себя во многом исчерпала: в советское время, разумеется, исследователь культуры был в каком-то смысле вынужден строить свои исследования, не выходя за рабочую плоскость письменного стола. Сегодня же ничто не препятствует тому, чтобы напрямую исследовать город как область практических смыслов, которые с ним актуально связывают люди.

Культурологическое исследование не столько объясняет скрытые механизмы, детерминирующие поведение людей, сколько аналитически проясняет те смысловые структуры,

в которых мы существуем. Смысл — это не сам предмет, но способ данности предмета, и с одним предметом люди могут связывать разные смыслы.

Отличным классическим образцом такого подхода является работа Георга Зиммеля «Большие города и духовная жизнь», где поведение горожанина не выводится из какой-то теории, а делается попытка понять, что представляет собой горожанин как тип, каким образом городская жизнь изменяет наше отношение к другим людям и как город меняет наш взгляд на мир. Зиммель не стесняется использовать в своем описании такие категории, как «пресыщенность», «одинокчество», «нервность жизни». Это интерпретирующий аналитический подход, который позволяет понять те смысловые сцепки, в которых мы как горожане существуем.

Фундаментальная граница между традиционным и современным обществом пролегает по линии урбанизации. Город — это квинтэссенция модерна в его противоположности традиционному обществу как аграрному и общинному устройству жизни. Мы, собственно, и узнаем о появлении цивилизации модерна, когда значительная часть населения перемещается в города. Города продолжают расти во всем мире, всевозможные утопии наступления нового средневековья в форме новой деревни не спешат сбываться. Культурная критика цивилизации модерна также принимает в первую очередь форму культур-критики города. Существует огромный спектр критических теорий, которые в ослабленном виде трансформировались в популярные урбанистические концепции. Именно эта критика определяет разные стратегии того, как люди, которые занимаются городом, думают его менять, улучшать и развивать.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДИНОЧЕСТВА

Один из самых распространенных критических упреков городу заключается в том, что город производит одинокчество, отчуждает людей друг от друга, превращает их в бездушных исполнителей мелких ролей. Заратустра у Фридриха Ницше является последовательным критиком городского образа жизни, постоянно призывая нас в целях противодействия измельчанию покинуть города и отправиться куда-то там на природу и свежий воздух —

в пустыню преимущественно. Для Освальда Шпенглера культура умирает в больших городах, превращаясь в лишенную внутреннего измерения бездуховную цивилизацию. Житель больших городов для него — это «новый кочевник, паразит, подлинный человек фактов, лишенный традиций, выступающий бесформенной текучей массой, неверующий, с развитым умом, бесплодный»¹. Вообще для стилизующихся под аристократический взгляд критиков город — это деиерархизированная «масса» одиноких рассудочных индивидов.

Сегодня подобная критика конвертировалась в одно из направлений урбанизма, который крайне озабочен тем, чтобы восстановить из этой массы чуждых друг другу индивидов некоторый порядок общинной формы. Урбанисты идут в городские дворы и подъезды, но не находят там никакого сообщества. Это их расстраивает, и они проводят некие мероприятия, чтобы собрать заново территориальное комьюнити, *neighborhood*, или же так организовать работу некоторых городских пространств, например библиотек, чтобы в них могло себя найти опять же какое-то сообщество, и т.д. Другие расширяют тротуары, чтобы индивиды начали выходить на них из своих машин и активно общаться между собой. В популярном левом варианте возникает идея, что надо побороться за «право на город» некоторых существующих, но ущемленных сообществ. То есть тут имеется широкий спектр разных бэкграундов — от романтически-консервативного урбанизма до левого.

На самом деле идея «права на город» лежит на поверхности и образует сущностную особенность жизни горожанина, но поскольку наиболее распространенные формы урбанизма отстаивают собственное нормативное право на городские преобразования, именно она почему-то игнорируется или забывается.

Дело в том, что город — современный, модерновый город — это прежде всего уникальная возможность для человека как раз не быть частью никакого сообщества. Город — это уникальная культурная лаборатория, которая позволяет человеку быть одному. На протяжении почти всей истории человечества человек не мог быть один — он с необходимостью и неизбежностью был частью сообщества: большой семьи, клана, религиозной общины, сословия. И только в современном городе он получает возможность освободиться от этой неизбежной во всех прочих

условиях необходимости быть частью сообщества, возможность быть индивидом. Но надо, конечно, понимать, что этот вот индивид, эта возможность быть одному — это не есть некая данность. Напротив, это сложный и рафинированный результат многих факторов — из области политики, права, экономики, — сошедшихся в цивилизации модерна. Более того, этот индивидуализм — хрупкий продукт, который, выражаясь известным афоризмом Мишеля Фуко, история может смыть, как волна смывает след на песчаном берегу.

Напомню очевидные вещи. Например, экономика во все прежние — досовременные — эпохи была очень определенно завязана на большую семью и дом. Собственно, «ойкос» — это и есть дом, экономика обычно — это домохозяйство. Она и сейчас во многом и часто является таковой в наших недогородах, где домашнее хозяйство включает дачу, огород, теплицу и т.д., которые обслуживаются большой семьей в целом. Логика построения семьи также определяется здесь тем, что новый дом, новая семья — это прежде всего экономика, поэтому в традиционных обществах вопрос о браке — это вопрос хозяйственный, а не вопрос индивидуального эмоционального выбора. И только полноценный город дает возможность сформироваться совсем другой экономике и другому типу семьи. Потому что только города создают условия для разделения труда: города, говорит Зиммель, вследствие своих размеров способны вместить «огромную массу самого разнообразного труда»². А это означает, что человек может выйти из-под власти семьи как ойкоса и из-под власти общины, являющейся залогом выживания в традиционном обществе, и, исходя из своих возможностей и склонностей, найти себе место в этой экономике, основанной на разделении труда, на профессионализме.

Помимо прочего, тут возникает также возможность для союза людей, основанного не на экономическом значении дома-ойкоса, а на каком-то более сложном эмоциональном основании. Собственно, мы ежедневно можем наблюдать, как происходит это освобождение от давления и власти общины на улицах той же Москвы. Вот девушка-мигрантка покрасила волосы, сделала короткую стрижку и учится ездить на велосипеде — мне кажется, стоит ценить эту пусть даже внешнюю возможность, так как дома у девушки во дворе махалля, по которой, мне кажется, ностальгируют многие наши урбанисты, и эта самая махалля,

то есть локальное сообщество, не позволит ей вот так выглядеть и прокатиться на велосипеде. Есть и обратные примеры, когда какие-то общинные практики, вполне уместные в другом контексте, вдруг начинают проявляться в городской жизни, например в форме демонстрации общинных горских добродетелей у молодых людей с Кавказа. Требуется время, чтобы город справился с такими интервенциями нерелевантных ему культурных практик. В городах у нас предостаточно сообществ, но вот вопрос — города ли это?

Когда я слышу постоянные разговоры о том, что городская политика должна строиться вокруг и ради сообществ, у меня возникает ряд вопросов. Например, не является ли эта политика простым отражением наблюдаемой, увы, сословности и клановости нашего общества, когда в жизни человека определяющую роль играет не профессионализм, а клановые связи и прочие «знакомства». У нас есть некий парадигмальный пример индивидуалистической якобы аномии — разбитая лампочка в подъезде. Вот это вот беда, говорят нам, потому что жители подъезда должны бы собраться на собрание, начать там некую «коммуникацию» и вкрутить лампочку или, скажем, починить лавочку. Вот что я должен в связи этим сказать: у меня лично нет ни малейшего желания быть частью такого вот чаемого урбанистического комьюнити в подъезде и начинать сложную коммуникацию по поводу этой самой лампочки. У меня и на работе собраний хватает, я не хочу никакой дополнительной коммуникации, а мечтаю, положим, только о том, чтобы после работы кормить в молчании барбусов в своем аквариуме. Городское общество, конечно, должно быть устроено так (и не урбанисты могут решить эту проблему), чтобы граждане могли заплатить за эту лампочку профессиональному электрику. И никакие внешние стимулы к тому, чтобы вовлечь меня в дополнительные формы демократической коммуникации, я оценить, к сожалению, не смогу. И в библиотеке мне тоже не нужно никакое сообщество — я прихожу туда с Платоном общаться, а не с другими людьми. И даже в музее мне не нужна никакая коммуникация, а нужен упорядоченный исторический нарратив, чтобы познакомиться с историей, например, этого города — без всяких поползновений устроить в этом музее костюмированное чаепитие с моим участием. Конечно, я утрирую — есть дети, есть разные категории посетителей музеев. Но я хочу напомнить, что города —

это также и пространство, где люди все еще ценят одиночество и возможность не вступать ни в какие дополнительные коммуникации, кроме самых формальных функциональных взаимодействий и прохладных ритуалов вежливости.

Это, разумеется, не означает, что тема некоторых типов сообществ не важна. Напротив, со времени Аристотеля мы знаем, что свободная полисная жизнь свободных граждан — отвлекаясь здесь от вопросов политики как таковой — предполагает также возможность сообществ, основанных на свободных, например дружеских, связях. Но эти сообщества прекрасно себя находят и без урбанистической политики. У нас они обычно где-нибудь в банях собираются или на дачах, а в крупных городах — в кафе и пабах. К сожалению, нынешняя урбанистическая политика в той же Москве стерла с лица земли почти все старые общественные пространства, вроде кафе или ресторанчиков, которые возникли за последние лет двадцать: новое благоустройство города явно рассчитано на приезжих, а не на горожан, обладающих исторической памятью прожитой в этом месте жизни.

Завершая этот сюжет, еще раз подчеркну: уникальность современного города не в том, что в нем есть сообщества. Сообщества есть и были всегда. Уникальность города в том, что город позволяет вам не быть частью сообщества, позволяет быть индивидуалистом-буржуа. Говоря словами Одо Маркварда, культура модерна предполагает мужество быть буржуазным и мужество быть одиноким. Это далеко не тривиальная задача — существует огромный пласт критики и буржуазности, и предполагаемого ею индивидуализма и одиночества, а также огромное число утопических теорий, как нам надо от этого спастись. Однако эта возможность одиночества является лишь другим наименованием доступной в обществе модерна индивидуальной свободы. И как замечает Георг Зиммель в упомянутом мною эссе, никто и не обещал, что свобода индивида будет выражаться в ощущении безоблачного благополучия.

КРЕАТИВНОЕ РАЗРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

То, что было сказано выше, легко проиллюстрировать некоторыми современными популярными концепциями из области социологии и исследований культуры. У Стива Фуллера есть концепция университета как специфической формы разрушения социального капитала. Университет — один из важнейших институтов городской культуры, это культурный восприимчивый античных школ — основополагающей для западной цивилизации модели «пайдеи», то есть свободного образования и воспитания. Отталкиваясь от концепции Фуллера, городскую цивилизацию модерна можно в целом трактовать именно как институт творческого разрушения социальных связей. Есть классическая работа Марка Грановеттера, посвященная «силе слабых связей». В ней он утверждает, что слабые связи — это важнейший фактор профессиональной и карьерной мобильности человека. Кроме того, именно коммуникация в сети слабых связей является наиболее информативной. Сильные связи — это связи оформленных сообществ, семьи, близких друзей и др. Но Грановеттер эмпирически показал, что решающую роль, например, в карьерном росте человека в современном обществе играют не эти сильные связи, а связи слабые — то есть поверхностные, далекие от оформления их в форме некоего сообщества. Какие-то деловые встречи, какие-то контакты по работе и т.д. Кроме того, такие контакты являются наиболее информативными (в рамках сильных связей мы хорошо осведомлены о том, что известно в сообществе, в семье, в клане, — эта коммуникация обладает минимумом информативности).

Если мы посмотрим на эту концепцию с точки зрения описанного выше контекста городской культуры, то вполне можно сказать, что город, давая нам возможность освободиться от власти сообщества, в то же время открывает нам возможность для выстраивания слабых связей. Эти связи не слишком душевны, они имеют поверхностный, функциональный характер, опосредованный разными церемониалами городской вежливости. Это, по сути, деловая коммуникация. Такой тип коммуникации, надо заметить, не слишком нравится людям, привыкшим к тесным персональным отношениям в рамках сообщества: «Москва слезам не верит», — так говорит наша поговорка. И самим москвичам как жителям столицы примерно

с середины XX века приписывается как раз вот такой холодный, деперсонализированный тип коммуникации, деловой подход с минимумом сентиментальности. В глобальном мире функцию таких «москвичей» сегодня обычно играют «американцы» — «nothing personal, it's just business» и т.д. Все это, в общем-то, давно описано в исследованиях современной городской культуры: в больших городах возрастает роль рассудочных — то есть денежных и формально-контрактных — отношений в противоположность «душевному» персональным связям, господствующим в традиционном обществе. В классической русской литературе XIX века без труда можно отыскать и другие формы персонификации противопоставления культуры сильных и слабых связей, причем последнюю нередко олицетворяет фигура «немца». Но дело, повторюсь, не в Москве и не в американском глобализме — дело в типе и культуре связей: большие города осуществляют творческое разрушение сильных связей, в них преобладают и воспринимаются как все более значимые именно слабые связи.

Со стороны современных исследователей культуры этой мысли вторит и Ричард Флорида. Его понятие «креативного класса», конечно, весьма рыхлое, но если говорить о его твердом зерне, то оно сводится к тому, что креативный класс состоит из индивидуалистов, отказывающихся от уютного домашнего мира сильных связей. Креативный класс Р. Флориды состоит из людей, выбирающих слабые социальные связи, которые легко завязывать и от которых столь же легко освободиться. В рефлексивной голливудской культуре, неустанно пропагандирующей традиционные семейные ценности, конечно, есть уже и образцы консервативной критики образа жизни представителей «креативного класса», например фильм «Мне бы в небо» (реж. Джейсон Райтман, 2009). Но как бы там ни было, если мы говорим о «креативном классе» и глобальном состязании городов за этот самый класс, то «сообщество» — это тема, о которой следует думать здесь в последнюю очередь. Добавлю также, что для Флориды важным показателем привлекательности того или иного города для креативного класса является высокий уровень толерантности. Но это как раз и означает ослабление власти влиятельных сообществ большинства, которым не очень нравится чуждая культура поведения. Толерантность означает, что мы научились понимать

относительность как своих собственных, так и чужих культурных привычек и стереотипов. Речь тут не о «мультикультурализме», который в некоторых случаях совершает очевидную ошибку — предлагает нам занять позицию благожелательной терпимости к таким культурным образцам, которые сами по себе исключают всякую симметричную терпимость. Понимание историко-культурной относительности собственных привычек никоим образом не означает, что от них следует отказаться. Толерантность означает лишь то, что мы готовы мириться с некоторыми вещами, которые нам активно не нравятся (иначе это не толерантность, а, например, безразличие), — но в рамках определенных границ и до определенных пределов.

В некоторых случаях контекст доминирования слабых связей играет роль триггера крайних антимодерновых проявлений. Исследования террористических сетей (например, в работах Марка Сейджмана) дают совершенно определенный социально-психологический тип их участников. Это не какие-то невежественные религиозные фанатики — это часто довольно хорошо образованные радикальные идеалисты, нацеленные на реализацию утопии некоторой всеобъемлющей справедливости, а в личной жизни — той самой душевности и персональности, тесной сплоченности общинной жизни, о которой они несут какую-то ностальгирующую память и которую, кстати, легко обрести в кругу сплоченных тайных политических групп. И бьют они чаще всего по классическим сценам городской жизни, где разворачивается обычный для культуры модерна праздник слабых связей и одиночества в толпе — по бульварам, ресторанам, концертным залам. Одна деталь по поводу культурной антропологии.

Недавно появились исследования, посвященные типу образования религиозных экстремистов³. Оказывается, среди них непропорционально мало людей с гуманитарным образованием и, наоборот, непропорционально много людей с инженерно-техническим образованием. Это важный симптом: современная образовательная прагматика, сокращающая общегуманитарный элемент образования, дает на выходе людей, которые, похоже, неспособны критически оценить догматизм. Современное гуманитарное образование так или иначе имеет культурно-исторический характер, что обнаруживает исторически относительный характер и наших собственных культурных

привычек и стереотипов. Похоже, что инженерное образование, которое, кстати, по сходной причине критиковал Фридрих Август фон Хайек, в гораздо меньшей степени способно противостоять радикальному идеалистическому догматизму.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД И ЛОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Цивилизация модерна отличается тем, что в ней нарастает плотность инноваций всех видов. Это цивилизация возрастающих скоростей во всех областях жизни. Современными центрами этой цивилизационной динамики являются глобальные города. Россия — страна, цивилизационно очень неоднородная. В этом нет какой-то особой российской специфики по отношению к множеству других стран, но и недооценивать цветущее разнообразие нашей страны никак нельзя.

Эта неоднородность обнаруживается и в культурно-историческом аспекте. Дело в том, что культура — во многом буферная, компенсаторная зона для цивилизации модерна. Ведь что такое модерн? Модерн — это и есть глобальная цивилизация. Специфика продуктов этой цивилизации заключается в том, что они совершенно безразличны к своему «происхождению», своему историческому истоку, как выражался Иоахим Риттер. Есть провинциальная привычка «прописывать» глобальную цивилизацию модерна в какой-то стране. Долгое время мы прописывали ее в Европе, сейчас, скорее, в США, но это ошибка: модерн по своей структуре безразличен к собственному локально-историческому происхождению. В какие-то моменты своей истории Россия также была центром распространения модерна для многих окружающих ее стран. В Иране самовар до сих пор называется «самовар», памятник первому трамваю на лошадиной тяге в Тебризе называется «конка», а в Исфахане и сегодня можно покататься на «дрожках». Иными словами, Россия некогда была важнейшим источником модерна — то есть, попросту, некоторых цивилизационных изобретений — для Ирана. Если кто-то сегодня борется с цивилизацией модерна, то он борется попросту с кофеваркой — это даже не ошибка Дон Кихота, а непроходимая глупость.

Но когда к вам приходит глобальная цивилизация модерна, это означает также принципиальный поворот к вашему историко-

культурному истоку. Потому что именно в силу того, что модерн не имеет корней, люди впервые начинают их чувствовать: только тут рождается «историческое чувство», то есть понимание того, что локальная культура и ее история имеют значение. В России до знаменитых указов Петра I никто не собирал древности. Сбором этих древностей, в целях продажи в виде драгметаллов, в Сибири, например, жили целые деревни, этот промысел назывался «бугрование». Когда сегодня религиозные экстремисты стремятся демонстративно предъявить нам отказ от цивилизации модерна, они крушат и взрывают исторические памятники. Но поступают они, кстати, формально так же, как поступали все традиционные цивилизации до них. «Когда боги умерли и вера, вдохновляющая их почитание, исчезла, тогда храмы, которые им принадлежали, утратили свою достопримечательную красоту и превратились просто в камни и стены», — говорит Риттер⁴. И действительно, храмы, которые были покинуты старыми богами, всегда становились лишь строительным камнем для храмов новых богов. Только культура модерна умеет ценить храмы — в том числе и мертвых богов.

Легко заметить, что чувствительность к собственной культурной истории, к ее сохранению, а часто и воссозданию появляется только там, где на территорию приходит глобальная цивилизация модерна. Борьба за сохранение историко-архитектурного наследия сегодня в России — удел лишь крупных городов, да и то в весьма неоднородном виде. Это понятно: если вы до сих пор живете в палатах XVIII века с удобствами на улице, то у вас не может возникнуть никакого сомнения в том, что на месте этих палат необходимо срочно выстроить обычную многоэтажку. И поделаться с этим ничего нельзя — если говорить об общественных настроениях и движениях, а не о мерах бюрократической госполитики.

Глобальный город может прийти на территорию в виде туристов — это один из элементов современной мобильной цивилизации модерна. До тех пор пока он в такой форме не пришел, вы едва ли встретите в этом городе ресторан местной кухни, «Макдоналдс» здесь будет цениться несомненно выше. И когда вы спросите, где можно приобрести интересный алкогольный напиток, вас отошлют в магазин, в котором вы сможете купить, скорее всего, бутылку Jack Daniel's, но никак не бутылку местной араки, настоящей по рецепту тысячелетней

давности в семейной винокурне. Потому что в зонах с низкой современной мобильностью люди стремятся к продуктам глобальной цивилизации. И напротив, те, кто находится в контексте этой цивилизации, приобретают чувствительность и вкус к локальной исторической аутентичности во всех ее формах, включая еду и напитки. Именно в глобальных городах мы сегодня можем найти такую концентрацию тех же локальных кулинарных традиций, которая имеет беспрецедентный для истории человечества характер.

Иными словами, историческое чувство, интерес к местной истории и культуре критически зависит от того, что в это локальное пространство приходит динамика цивилизации модерна и глобального города. В противном случае все попытки ее стимулировать будут не более чем вымороченными бюрократическими программами развития. Характерна тут, кстати, реакция образованных горожан в Москве на новейшие урбанистические преобразования. С одной стороны, в них нельзя не заметить железную поступь большей цивилизационной комфортабельности — нам подтверждают это и видные эксперты. Но тут же выясняется, что вся эта стираемая с глаз долой локальность — вот эта вот шашлычная у метро — имела свое культурное измерение как часть повседневной истории живых людей, о которой все тут же вспомнили и которой — правда, уже безнадежно — озаботились.

В связи с этим есть одна поучительная история: в 1960-х годах в благополучной ФРГ на побережье Балтийского моря снесли всякую рухлядь в виде заброшенных усадеб прежней буржуазии, настроив, по последнему слову тогдашней эстетики и архитектуры, комфортные бетонные пансионаты. В ГДР на том же побережье денег на снос старых усадеб не было, и они худо-бедно дожили до объединения Германии. Поэтому сегодня основная престижная курортная зона Германии располагается именно там: старые усадьбы подновили и реконструировали, поскольку, как выяснилось, сегодня мало желающих жить в больших бетонных пансионатах. Эта история, которую можно дополнить, к сожалению, бесчисленным количеством российских историй, является лишней иллюстрацией того, что для человеческой жизни важно сохранять соразмерный человеку горизонт смысловой повседневности, в том числе и в области урбанистики. Потому что он является

единственным средством против политики единого «большого» стиля — главного эстетического достижения малокомфортных политических режимов авторитарного типа.

1 *Шпенглер О.* Закат Европы. М.: Мысль, 1998. Т. 1. С. 165.

2 *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3 (34). С. 10.

3 *Gambetta D., Hertog St.* Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education. Princeton: Princeton University Press, 2016.

4 *Ritter J.* Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft // Ritter J. Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel / Erweiterte Neuausgabe mit einem Nachwort von O. Marquard. Berlin: Suhrkamp, 2003. S. 395–396.